

Живые и мертвые идеи.

После всех больших внешних перемен, великих строек и великих ломок приходила оскоми́на ко всему внешнему, стремление внутрь, в глубину. Это не только в наш век и в нашей стране; что-то подобное было уже в Древнем Китае, после создания империи Цинь и сооружения Великой стены. Сперва философская «школа закона», исходившая из прямой государственной пользы, была вытеснена конфуцианством, и провозглашен эдикт, по которому сын, донесший на отца, подлежал казни. Потом вспомнили мудрецов даосизма, учивших, что бездействие и доверие космическому ритму – лучшая государственная политика. Больше того, стали распространяться учения, презиравшие всякую пользу, и на этой волне укоренился буддизм, с его новым и странным для Китая идеалом внутренней духовной свободы. Все это заняло около тысячи лет – с III в. до Р.Х. по VI–VII вв. С VIII в. колесо стало вертеться в другую сторону (иногда это называют Восточным Возрождением)...

Подобные маятниковые движения проходят сквозь всю историю. Китайцы осознали это в терминах «инь» и «ян». Инь – женское, порождающее, ночное, текучее, смазывающее границы предметов и восстанавливающее целостность мира; ян – мужское, рожденное, дневное, твердое, разумно разграничивающее предметы...

В западной культуре таких категорий нет, и [Габриэль Марсель](#) воспользовался двумя вспомогательными глаголами – «иметь» и «быть». Можно найти некоторое соответствие между его метафизикой и учением инь-ян. «Иметь» рационально (можно сосчитать, сколько ты имеешь); «быть» иррационально, не делится на части, не поддается подсчету. «Иметь» тяготеет к мужскому поведению: мужчина обладает женщиной, женщина отдается. В термине «иметь» она теряет – и приобретает – новое бытие, становится матерью. Совпадения двух метафизик нет, но переключка есть.

Книга «Иметь и быть», вышедшая около 70 лет назад, – одна из первых, в которых были осознаны конец Нового времени, кризис Запада (ведущей цивилизации Нового времени) и потребность восстановить целостность бытия, разрушенную чрезмерным упором на «иметь» (знания, вещи, власть)...

Примерно тогда же русские мыслители «серебряного века» заговорили о крушении идеала человекобога и возвращении к Богочеловеку. Человекобог гордая тварь, стремящаяся обладать всем миром. Богочеловек – это бытие любви. В таком противопоставлении «иметь» – чистое зло. Однако все обстоит не так просто.

Человек – и биологическое существо, вынужденное присваивать, есть и пить, и духовное существо, задыхающееся без прикосновения к вечности. Отдельные люди достигли полного преображения, но от народов этого ожидать нельзя. По отношению к ним китайцы мудрее нас. Они не думают, что ночь или день может длиться вечно. Человечество вечно колеблется между «иметь» и «быть», между вертикалью духовного взлета и горизонталью «мирского». И каждый принцип только на время достигает господства. Он воцаряется, чтобы поцарствовать – и потерять престол.

Мы живем на переломе двух эпох. Стремительно развивается мир «иметь» (ускорение, развитие, дифференциация); и нарастают трудности, вызванные дифференциацией, потребность остановиться, уйти в глубь себя, восстановить чувство целостности мира, чувство вечности. Эта тенденция связана с возрождением мифа (миф лучше схватывает целостность) и реставрацией религии. Остановить маятниковые движения невозможно,

удерживать их бесполезно. Сколько бы ни строить плотин, вода будет течь вниз, а не вверх. Хрущев закрыл 10 000 церквей, но в это самое время государственные издательства одну за другой выпускали книги по иконописи, а религиозная музыка (которую Герцен считал устаревшей) снова стала любимым искусством. Я обратил на это внимание еще 20 лет назад в статье «По поводу диалога» (так, впрочем, и не напечатанной в нашей стране).

«Когда-нибудь историки советского общества отметят, что в тридцатые годы Бетховен привлекал гораздо больше симпатий, чем Бах, и что живопись Ренессанса казалась, бесспорно, интереснее средневековой. Это будет легко и просто объяснить. Но затем наступили перемены, которые объяснить значительно труднее. Популярность иконописи и церковной музыки быстро растет. Любая лекция по иконописи собирает толпы слушателей (в огромном большинстве атеистов). Любая книга по иконописи становится бестселлером и украшением книжного шкафа.

Вслед за [Андреем Рублевым](#) и Феофаном Греком выходят из забвения (или полузабвения) имена их вдохновителей – Сергия Радонежского, Григория Паламы. Читаешь про спор о природе света Фаворского с неожиданным интересом. Такие понятия, как „византийское православие“ и „мистицизм“, утрачивают простой (негативный) смысл, становятся чем-то сложным и противоречивым. Напрашивается мысль, что и они, как некогда мифология греков, были „почвой и арсеналом“ великого искусства.

В том же направлении работает и консерватория.

И хочется понять: что же нам нравится в искусстве, идеи которого, казалось бы, не должны нравиться? Монографии, брошюры, концертные программы и вступительные лекции отвечают: нравится человечность, народность и т. п., вдохновившие художника вопреки его религиозной ограниченности. Однако на практике очень трудно понять, где кончается искусство и где начинается религия. Текст баховских „Страстей“, что ни говори, – Евангелие. Текст „Всенощной“ Рахманинова – всенощная. От этого никуда не уйти...»

Поговорив о ценности мифологического мышления для искусства, я переходил к этике.

«Заповеди – новая редакция системы табу, то есть морального опыта десятков тысяч лет... Религиозные законодатели дали новую систему предписаний, распространив внутриплеменную структуру отношений на всех людей. Система заповедей обладает некоторыми неповторимыми особенностями... Фома Аквинский признает, например, что кража прощительна, если альтернативой является голодная смерть. Заповеди регулируют поведение скорее как пружина (которая может сжиматься и разжиматься), чем как решетка или барьер...»

Возможно, когда-нибудь «сложится новая культура, которая примет и реорганизует опыт нынешних мировых религий примерно так же, как они приняли и впитали в себя дохристианские, добуддийские и т. п. национальные и племенные традиции... Но это невозможно сделать быстро, за несколько десятков лет, выхватив рождественскую елку и отбросив Рождество, восстановив венчалное белое платье и отбросив венчание...

...Пропаганда двадцатых годов, – писал я далее, – была очень топорной. Она разрушила религиозные праздники, разрушила (или нарушила) систему поэтических символов, тесно связанных с нравственными представлениями, и очень мало сделала в борьбе с догматизмом, нетерпимостью, фанатизмом, слепым доверием к авторитету, идолопоклонством. Все эти негативные стороны традиционных религиозных систем

оказались очень живучими и только приняли новые формы...» – в так называемом «культе личности». В итоге я призывал к диалогу с религией, к солидарности в общих поисках выхода из социального и духовного кризиса.

Я призываю к этому и сегодня; но за 20 лет выявились некоторые тенденции религиозного ренессанса, которые меня настораживают. На первый план выступают различия вероисповеданий. Каждая религиозная община замыкается в своей обрядности и в своем чувстве мнимого духовного превосходства (я назвал его гордыней вероисповедания). То, что христиане называют самостью – распухшее «я», – очень легко перекрашивается в самоутверждение веры. Я, дескать, смиренный грешник, но моя вера абсолютно истинна. Черты этой болезни я с огорчением видел у многих своих друзей, иногда – с национальным осложнением, с верой в народ-мессию. Все это заставляет отойти в сторону и слушать церковную музыку дома. Не связывая ее с верой в неестественное зачатие.

Я предпочел бы, чтобы люди смогли жить, как на планете Смешного человека – непосредственно чувствуя вечность в каждой былинке и не вступая ни в какие богословские споры. Так, как чувствует Борис Сергуненков, бывший журналист, бросивший свою профессию, проработавший девять лет лесником в Парголово-ском лесхозе и научившийся там видеть и слышать (его книги «Тысячелистник», «Осень и весна» – недавно напечатаны)...

К сожалению, по опыту четверти века я убедился, что это очень трудно; для многих и вовсе невозможно. Несмотря на все издержки церковности, «воцерковление» (в той или иной общине) – путь, по которому идут миллионы. А издержки... Издержки придется платить.

Мы живем в эпоху кризиса религии; отдельные группы от нее отходят; но народам по-прежнему нужны посредники, нужны двери в вечность, за которые можно хоть подержаться, не решаясь открыть, или в которые заглядывают, а потом отшатываются от бездны (встретиться с Богом, говорил митрополит Антоний Блум, – это войти в пещеру к тигру...).

Роль вероисповеданий не исчерпана. Они и сегодня определяют духовную жизнь народов и будут ее определять много-много лет. Не удивлюсь, если сотни и даже тысячи лет.

Каждое вероисповедание органически связано с жизнью народа, веками его исповедующего. И русская культура, к добру или к худу, неотделима от православия. Это не значит, что все русские люди – православные. Или должны ими стать. Еще в XIX в. в России распространились разные толки протестантизма, а в XX в. – восточные учения. И вовсе не исчерпана роль свободомыслия. Современная культура духовно не замкнута; каждый человек выбирает ту традицию, которая лично ему по сердцу. Протестантизм может внести в нашу жизнь этику труда и трезвости, индуизм и буддизм – культуру созерцания. А свободомыслие – бороться со склонностью каждой религиозной общины считать свой осколок истины целым зеркалом. Но скорее всего, масса русских, небезразличных к вечной жизни, по-прежнему будет исповедовать православие. Его обряды стали народными, его церкви открыты каждому грешнику и не требуют от него строгой практической нравственности – только признания греховности своей и веры в очищающую силу таинств и молитв. «Не к здоровым приходит врач, но к больным», – говорил Христос, и именно на этом камне построена вселенская церковь, хоть православная, хоть католическая. Для здоровых – другие слова: «Будете молиться не на горе и не в храме, а в духе и в истине». Но где сейчас здоровые? Кто сейчас здоров?

Целые народы больны – на грани психических срывов, массовых истерик. И вот толпы больных и полубольных приходят в церковь и находят, пусть временное, исцеление в литургии, в соединении с образом божественной любви, в трепете таинств.

Однако русские не единственная нация в Советском Союзе. Культура десятков народов укоренена в исламе. Есть и католики, и протестанты, и дохалкидонские христиане, иудаисты, буддисты (я говорю в данном контексте не о личностях, а о народах). Советский Союз основан был на предположении, что все это неважно: вечных религиозных глубин нет; есть только религиозные предрассудки, которые непременно отпадут вместе с частной собственностью (так и действовали в 1929–1930 г.: «Вступаем в колхоз и закрываем церковь»).

Прошло полвека с лишним – и примитивный рационализм выдохся, а религия цела. Религия по-прежнему вносит в мир духовную иерархию, незыблемую шкалу ценностей, дает личности твердые внешние рамки и возможность собрать все силы для внутреннего роста. Но вместе с этим благом возвращается в мир и зло: угроза возвращения религиозно-национальных распрей.

Исторические религии только потому и смогли выжить, что замкнулись в жесткую скорлупу догматических определений. Там, где границы вероисповеданий совпадают с границами народных культур, религиозная рознь удваивает племенную рознь и пылают очаги долгих тяжелых конфликтов.

Старая Россия решала эту проблему просто: имперский центр господствовал над окраинами. Но в конце XX в. это уже невозможно.

В 1922 г. Советский Союз окружали полуколониальные и зависимые страны. Теперь положение резко изменилось. Видимо, будут меняться и отношения между советскими республиками, освобождаясь от остатков имперского господства (эти строки, написанные в 1987 г., сегодня звучат слишком слабо. Однако еще в 1988-м, в сентябре, меня за несколько подобных высказываний обругала газета «Труд»). К сожалению, в последние двадцать лет мы если и двигались, то в противоположном направлении. При утверждении брежневской конституции чуть не дошло до кровопролития из-за попытки выбросить одну, совершенно законную фразу: «Государственный язык Грузии – грузинский язык».

Гипертрофия охранительности функции заставила некоторых близоруких политиков провоцировать раскол интеллигенции по национальному и религиозному принципам. Активную роль в движении 60-х годов за демократизацию играли евреи; поэтому поощрялся антисемитизм. Но дело не сводится к дирижированию сверху, дух застоя сам по себе толкал к обособлению и разъединению.

В 60-е годы интеллигенцию захватил вопрос: «Что делать?» Объединило общее дело возможных (увы, несостоявшихся) реформ. К сожалению, после августа 1968 г. делать было нечего, и люди, почувствовавшие себя в тупике, занялись другим вопросом: «Кто виноват, кто завел в тупик?» Этот вопрос, по сути неразрешимый, решался все более радикально и все более субъективно. Новые эмигранты (и внешние, и внутренние), физически порывая с Россией, вырывали ее из сердца (как часто бывает при разводе); а в других углах проклинали инородцев, социалистов, либералов и даже левых октябристов. Одна из русских православных церквей, Карловацкая, нашла момент подходящим и канонизировала Николая II. Обретение религиозной глубины мирозерцания безнадежно спуталось с политическими и национальными страстями. А национально-религиозные страсти в центре усилили напряжение на окраинах.

То, что называется (или, вернее, само себя называет) русским национальным и религиозным сознанием, с поразительной слепотой занято счетами семидесятилетней давности. Мало кто думал о завтрашнем дне, когда взрывы, подобные событиям в Алма-Ате, могут последовать один за другим (и они последовали – в Сумгаите, в Кировабаде, в Фергане)...

Людям, захваченным чужеедством, кажется, что их идеи – нечто вроде пистолетного выстрела, точно направленного в цель. На самом деле ксенофобия скорее напоминает степной пожар. Вы зажигаете сухую траву, рассчитывая сжечь ненавистную вам деревню; но ветер переменялся – и горит ваш собственный дом. Бурляев ездил со своим фильмом о Николае Соломоновиче Мартынове; выступают по телевидению Белов, Распутин – и не понимают, что они поджигают, куда может перекинуться пламя.

Погромная агитация отягощает жизнь отдельных групп евреев, она может приводить к катастрофам. Но для еврейского народа в целом здесь нет ничего нового. В случае торжества емельяновых часть обрусевших евреев погибнет, большинство выедет. Русским некуда уезжать, и им придется как-то жить в огне национальной ненависти.

Разумеется, есть привычные средства поддерживать имперский порядок; но тогда какая же демократизация?

Пока что, на сегодняшний день, акцентируется марксистский интернационализм. Однако его явно не хватает, и нельзя не подумать о возможностях суперэкуменизма, братства всех великих религий. Все мировые религии – попытки подняться над страстями рода и племени. И есть священники, которые достаточно широко мыслят. Есть экуменическое движение, есть попытки диалога христианства с исламом. Есть в исламе легенда о скрытом имаме, который, выйдя из пещеры, так истолкует все пророчества, что исчезнет вражда между «народами книги» (то есть разными толками единобожия). Есть, наконец, опыт дружеского диалога между христианством и атеизмом, начатый покойным о. Сергием Желудковым (*).

(* Сборник его писем, в которых обсуждались проблемы веры и неверия, вышел за рубежом. *)

Наша официальная политика и здесь шла наперекор действительным интересам Советского Союза. Боялись экуменических связей и не понимали, что внутренние проблемы СССР (расположенного на перекрестке западного, византийского и мусульманского миров) совпадают с мировыми, что такой федерации необходим суперэкуменизм.

В романе «Ночевала тучка золотая» Коля Кузьмин, потеряв брата, находит нового брата в чеченском мальчишке. Эта концовка меня не убедила. Коля, с его мальчишеским разумом, скорее должен был возненавидеть чеченцев. Но Святому Духу доступно то, что превосходит естество, и «несть во Христе ни эллина, ни иудея». Хотя только что, при жизни апостола Павла, бросившего эти слова, александрийские эллины учинили погром и вырезали (с помощью римского легиона) 50 000 иудеев.

Николай Вильмонт в своих воспоминаниях о Пастернаке говорит: «Если мир, наша многострадальная планета, не преклонится перед Христом как перед „высшим откровением нравственности“ (Гёте), мир, безусловно, „загорится на ходу“ и погибнет. Физически, не только морально» (*). В том смысле, в котором Бог есть любовь, а Христос

– образ и воплощение Божьей любви, это для меня очевидно. Однако наивно думать, что мусульмане вдруг перейдут в христианство. Да и зачем? Разве ливанские марониты ближе к духу любви, чем тамошние мусульмане или друзья? Ни мир ислама, ни плюралистические культуры Южной Азии и Дальнего Востока не станут христианскими. Дух любви может победить только в общении разных культур и разных вероисповеданий.

(* Новый мир. 1987, № 6, с. 220. *)

Складывается единое человеческое общежитие, а общей веры нет. Единство мыслимо только в диалоге, в постепенном утверждении общего духа над различиями буквы. Удастся ли это? Я могу сказать только одно: жизнь полна чудес. Но чуду надо помочь, чудо надо удержать и сохранить. То аджорнаменто, которое начинается на страницах наших газет и журналов, непременно должно распространиться и на сферу религии. И здесь многое может сказать научная и философская критика религии (которую не надо смешивать с хулиганским безбожием). Религиям тоже надо перестраиваться, освобождаться от религиозной спеси, от гордыни вероисповедания. Взгляните глазами мусульманина на маковки русских церквей, где полумесяц – символ ислама – повержен к подножию креста (превратив символ победы над смертью в памятник Ивану Грозному); подумайте: куда это ведет?

Религия спасала людей и губила людей. Защитники религии подвели под распятие Иисуса Христа, сожгли Жанну д'Арк, Яна Гуса, Джордано Бруно. Фанатики религиозно-национальных общин – в первых рядах современных террористов. И я не знаю, смогут ли религии народов Советского Союза, освобожденные от давления государства, подняться до подлинного вселенского порыва? Я жду этого, как чуда, но будет ли оно?

Опыт Индии, Ливана, Северной Ирландии толкает к пессимизму. Впрочем, если удастся хотя бы смягчить, умерить национальные страсти, десятки лет кипевшие в закрытых котлах, – и это было бы великим делом... Делом, в котором необходимо объединение всех – верующих и неверующих. Потому что наше государство в его современных границах лишено духовного фундамента; и уже оседают стены.

Проблемы, которые сегодня вылезли из всех углов, скопились давно. Одни уходят корнями в зигзаги сталинской политики, другие – еще глубже: в соблазн утопии, в привычки административного восторга, в имперские традиции России, наконец, в динамику мировой истории, из которой никак нельзя выпрыгнуть. Крушение европоцентризма, деколонизация, духовный кризис, экологический кризис, угроза гибели биосферы – все это нас прямо касается. Брежневская администрация не создала эти проблемы; она их только попыталась заморозить и возникла еще одна специфическая проблема: застой. Сдвиги продолжались, но они ушли с поверхности в глубину.

Эпицентр событий хрущевского времени – ЦК, XX съезд, XXII съезд; в 1965–1975 гг. – политические процессы. А потом все молчало; только камни вопили; и еще – изредка – слышен был голос Андрея Дмитриевича Сахарова. Но самое главное произошло глубже уровня безнравственных политических решений и протестов нравственного сознания: подгнили принципы, на которых строилось государство.

Наш Союз Советских Социалистических Республик возник на волне гнева, копившейся сотни лет и смывшей трон Романовых после трех лет кровавой и бездарной войны. В водовороте страстей власть оказалась в руках партии, сильной своей организованностью и своей верой в светлое будущее. Ради этой цели можно было часть народа увлечь, а другую часть – заставить идти за собой. Ибо цель, казавшаяся абсолютной, оправдывала

абсолютно все средства.

Бесполезно взвешивать, какова здесь роль утопических элементов марксизма и какова – имперских традиций административного восторга. Думается, важно и то и другое. Вот рядом две великие культуры: Индия и Китай. В Китае две с половиной тысячи лет создаются социальные утопии и совершаются прыжки в утопию. В Индии – ни того, ни другого. Видимо, это связано с характером культуры, склонной или мало склонной к вере в рай на земле.

Утопия пришла в Россию с Запада. Но Россия не была европейской страной, а только европеизированной. В плюралистическом европейском обществе утопия оставалась интеллектуальной игрой (для сэра Томаса Мора) или привеском к предвыборной программе социал-демократов. Россия, увлекаемая призраком окончательного решения мировых вопросов, рванулась в утопию всем корпусом и застряла в этом состоянии.

Плеханов как-то заметил: «По методам своим Петр был славянофил». Это можно сказать и о Ленине: по методам своим Ленин был почвенно русским человеком, не понимавшим пользы плюрализма (так же как сегодня не понимает этого другой почвенно русский человек, Солженицын). И именно почвенное, народное непонимание плюрализма толкало к запрету независимой прессы, к разгону Учредительного собрания... Зачем терпеть ложь, если мы знаем полную и окончательную истину? После того как Сталин ликвидировал последний институт, оставлявший место для обратной связи между идеей и жизнью (демократию внутри ЦК и партийных съездов), победил автоматизм административно-командной системы.

Идейным ядром этого развития была уверенность, что социальное учение Маркса в общих чертах бесспорно: все зло коренится в частной собственности. Пролетариат, захватив власть, упраздняет частную собственность. И тогда происходит прыжок из царства необходимости в царство свободы. Маркс не рисовал никаких подробностей светлого будущего, но он придал духу утопии характер принципа, звучащего философски корректно и приемлемого на первых порах для философски мыслящего человека. Через марксизм прошли Бердяев, Булгаков, Франк, Федотов. Им понадобилось несколько лет, чтобы прийти к иным взглядам. Люди, не склонные к философскому сомнению, на всю жизнь были заморожены XI тезисом: «Мир надо переделать». Страстная убежденность старых большевиков в истинности утопии и аппарат террора, затыкавший рот противникам, задержали процесс отрезвления России на несколько десятков лет. Но у брежневской администрации не было никакой убежденности, никакого пафоса. И принцип стал гнить.

Вторым принципом, сгнившим в период застоя, был марксистский интернационализм. Оговорюсь сразу: я не считаю ложной веру во вселенское братство всего живого. Но моя вера опирается на духовный опыт единства, на своего рода религию (хотя ни одна современная религия меня полностью не удовлетворяет). Марксистский интернационализм был попыткой объединить людей без религии, без духовных глубин, опираясь на классовое чувство пролетариата, то есть на ненависть всех бедных ко всем богатым. Это часто приводило к союзу смердяковых и шариковых против интеллигентности, против культуры.

Интернационализм держался на отталкивании от того, что ему предшествовало: на отталкивании от мировой войны, от погромов, от резни. Например, мой покойный тесть в юности вместе с другим мальчиком стал основателем подпольного союза учащихся-коммунистов в Баку после резни в октябре 1918 г., когда турецкая армия при поддержке

азербайджанцев вырезала 10 000 армян. В союз входило около 150 гимназистов. Я не брошу камень в их энтузиазм. Но духовной основы у этого энтузиазма не было. И во время следующего великого испытания, в 1941–1945 гг. интернациональные лозунги были сняты: они почти никого не захватывали. Огромна была ненависть к немцам. И мы сами не замечали, как эта ненависть понемногу разрушала нас самих.

Наша идеология практически держалась на общей ненависти, на образе врага, и, как только был ликвидирован последний «эксплуататорский класс», стало неизбежным возвращение к образу национального врага. Это началось. Как только Гитлер пришел к власти и стала ясной сила национального чувства, национальной идеи. С 1934 г. советская пропаганда и советская политика становятся эклектической смесью национализма (все более активного) с интернационализмом (все более показным). Кончилось погромами.

Погромы – спутник всех прежних революционных сдвигов в Евразии. Но советская власть прекратила погромы. Этой заслуги у ленинского периода не отнять. Откуда же снова то же? Общий склероз, как в расшатанной царской империи? Но в Алма-Ате ответные действия были, скорее, излишне суровыми. Факты, выплывшие на Съезде народных депутатов, заставляют задуматься. А в Сумгаите...

Сейчас все смотрится в общей связи: Степанакерт, Ереван, Сумгаит, Звартноц, Кировабад, Тбилиси... Бросается в глаза, что власти плохо понимают разницу между цивилизованными формами протеста (митинг, демонстрация, забастовка) и варварскими (погром, резня). Войска на трое суток опоздали в Сумгаите, с излишней поспешностью были введены в Звартноце и в нарушение любых законов цивилизованного общества – в Тбилиси. Когда погиб младший лейтенант Гусев, защищая армянские кварталы Кировабада, мое сочувствие было на стороне армии. Нельзя смешивать законные действия против насилия, разбоя и незаконное подавление свободы слова. Призывы к насилию – преступление, но только тех, кто выступает с такими призывами, и никого другого. Народ имеет право на митинг. Но погромы надо останавливать. Более того: власти, которые не приняли необходимых экстренных мер, подлежат уголовной ответственности. То, что до сих пор не расследовано и не наказано преступное промедление властей в Сумгаите, – открытая рана нашего общества.

Вместе с тем должно быть четко разработано законодательство об ответственности генералов, офицеров и солдат за неоправданную жестокость. Каждое убийство (даже в действиях против убийц) должно расследоваться судом. Арестованный убийца-погромщик может быть осужден к самому строгому наказанию, но солдат или офицер не имеет права убивать на месте. За исключением тех случаев, когда самому солдату или офицеру грозит смерть. Необходимо удовлетворить требования депутатов Казахстана и расследовать декабрьские события в Алма-Ате. Судя по дошедшим слухам, это был погром; но подавление погрома соперничало по своей жестокости с действиями погромщиков. Безднаказанность преступлений, совершенных властями в Алма-Ате, привела к новым преступлениям – в Тбилиси. С другой стороны, безднаказанность погрома в Сумгаите привела к новым погромам – в Кировабаде и других городах и, может быть, в Средней Азии. Массовые митинги в Баку, провозгласившие убийц народными героями, вполне могли вызвать отклик и в Фергане, и в Новом Узене.

В нашей прессе опубликовано очень немногое. Но даже это немногое позволяет сравнить тысячи арестованных в Алма-Ате и десятки – в Сумгаите; три тысячи студентов, исключенных из учебных заведений в Казахстане (*), – и ни одного мерзавца из тех, кто устроил карнавал после землетрясения в соседней республике.

(* Об этом писал журнал Дружба народов. 1988, № 12. *)

«Суд над виновниками сумгаитской трагедии приобрел характер фарса, пишет журнал „Страна и мир“ (1*). – Достаточно сказать, что на судебном заседании, проходившем в Сумгаите, в одном случае несколько погромщиков были приговорены к 2,5 года лишения свободы условно, а в другом – общественный защитник представил ходатайство предприятия о передаче дела одного из обвиняемых в... товарищеский суд. На заседании Верховного суда в Москве была использована иная тактика. Здесь суд не выгораживал обвиняемых, но делал все, чтобы придать их действиям сугубо локальный и личный характер... Председательствующий отказался вызвать в качестве свидетелей бывших руководителей Сумгаита, отклонил ходатайство зачитать телеграмму первого секретаря Нагорно-Карабахского обкома, в которой тот сообщил, что секретарь Сумгаитского горкома Д. Муслим-заде заявил на заседании ЦК КП Азербайджана, что ответственность за погром несут бывшие руководители республики...» (2*)

(1* Страна и мир, 1988, № 6, с. 30. *)

(2* Страна и мир, 1988, № 12. *)

Решали не принципы, а обстоятельства. Господствовало раздражение армянами, не вовремя выступившими со своим карабахским вопросом (для таких вопросов никогда нет времени), и все делалось так, чтобы уравнять стороны, разрушить контроль интеллигенции над армянской толпой, довести армян до эксцессов, подобных азербайджанским, и только после этого найти решение, оказавшееся временным и мнимым.

«Произвол рождает только произвол, – пишет „Страна и мир“ (редактор известный правозащитник Кронид Любарский). – Произвол непредсказуем. Сегодня в Москве решили так, завтра могут решить иначе. В Баку поняли: единственное, чего Горбачев боится, – это шум, мировой скандал. Ясно, что интриги армян потому и не прошли, что власти испугались Сумгаита. Что ж, мы устроим десяток Сумгаитов!» (*)

(* Там же, с. 32. *)

Думаю, что так же рассуждали закулисные силы, действовавшие в Средней Азии. Они почувствовали призыв использовать обстановку, проверить свою силу. Кто смел, тот два съел!

Есть только один выход из создавшегося положения – установить новые, твердые и разумные принципы.

Я не армянин и не азербайджанец. Но я чувствовал как свой собственный позор, что наше государство, такое сильное (даже чересчур), не смогло предотвратить резню и что мои сограждане азербайджанцы резали моих сограждан армян; а центральная пресса ставила тех, кто режет, и тех, кого режут, на один уровень и жевала мертвые слова о дружбе народов – лишь бы ничего не менять, лишь бы не пересматривать границ. Я думаю, что нельзя стоять сразу на двух эскалаторах, одном движущемся и другом – неподвижном...

Мне кажется, что спор о Карабахе велся в неадекватных терминах, скорее запутывавших, чем разъяснявших дело. Только на Съезде народных депутатов четко было сказано о неравноправии больших и малых народов, закрепленном в Конституции. Маленький народ не хочет подчиняться большому народу, а большой считает его территорию своей

(территорию Крыма, Абхазии, Карабаха, Татарии). Есть ли из этого положения правовой выход?

Наша Конституция проводит различие между номинально суверенными союзными республиками и явно несuverенными автономными республиками, областями и округами. Во всем ли целесообразно это деление? Почему не разрешить малым народам добиваться режима федерального округа (подчиненного непосредственно центру)? Или перехода из одной республики в другую? Крестьяне в древней России имели Юрьев день (право переходить от одного боярина к другому). Почему не дать Юрьев день Карабаху и Абхазии?

Еще хуже положение народов распяленных, не имеющих никакой административной единицы. Сталин теоретически доказал, что евреи не нация. Потом он практически упразднил несколько других национальностей. В таком упраздненном состоянии до сих пор остались крымские татары и немцы Поволжья. Народ в нашей Конституции – это группа нулей, приобретающих значение только после административно-территориальной единицы. Если нет единицы, то и народа, при выборах в Совет Национальностей, нет. Поголовная ссылка немцев и крымских татар признана ошибкой, но их место в Совете Национальностей не восстановлено. Таким образом, для борьбы за восстановление своей единицы им оставлена только уличная демократия. По большей части несанкционированная. Как выйти из этого порочного круга?

Почему нельзя выборы в Совет Национальностей проводить по куриям, как при Столыпине, когда рабочие голосовали в одной курии, а землевладельцы в другой? Так же точно татары, где бы они ни жили, или немцы, или евреи могли бы голосовать по своим национальным куриям. Квоты можно установить, исходя из численности народа. Распяленные народы численностью более миллиона могли бы получать квоты союзной республики (чем они хуже эстонцев?), а численностью более 100 000 – квоту автономной республики.

Однако главное не юридические формальности, а дух времени. В 20-е годы вовсе не было Совета Национальностей, но интересы национальностей учитывались довольно хорошо – настолько, насколько позволяло господствовавшее тогда безбожие. Не было Биробиджана, но было 5 еврейских театров. Были какие-то культурные очаги у ассирийцев. В кубанских станицах обучение проводилось на украинском языке. Все это было упразднено в основном после введения в силу сталинской конституции. При почтительном одобрении Совета Национальностей. Ибо народы в нем не представлены.

К чему это привело, я увидел в 1953 г., начав работать учителем в станице Шкуринской. Оказалось, что школьники 8-го класса почти не говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть. Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Мать ответила мне по-русски. «Так вы русская?» – «Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду». «Отчего же вы не выучили дочку своему родному языку?» – «Что вы, ей проходу не было! Били смертным боем!» Оказалось, что мальчишки лет пяти (которых и в милицию не потащишь. Да и где она, в станице, милиция?) заставили детей переселенцев говорить по-запорожски. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене – по зубам. Запрет снимался только с 8-го класса. Ученики старших классов – отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Все это не было организовано взрослыми (организацию выбрали бы в 36-39-м или в 43-44 гг.). Стихийная детская инициатива. Дети сохранили господство украинского языка в кубанских станицах; дети же сохраняли традиции юдофобства в те годы, когда

юдофобство взрослых преследовалось...

Я пустил корни в русскую культуру ребенком, когда антисемитизм казался умирающим пережитком и никто не заставлял меня забывать еврейский язык. Если бы заставляли, непременно бы заартачился. И чем сильнее нажим, тем туже натягивалась бы пружина. Можно представить себе, какое пламя горит в душе крымских татар...

Все обвинения, выдвинутые против них, – это обвинения против отдельных лиц. Разве украинцы не сотрудничали с немцами? Разве генерал Власов был татарин? По официальному докладу, представленному Гиммлеру в 1945 г., общее число хиви (Hilfswillige), перешедших на сторону немцев и служивших в вермахте, достигало 800 000. Учитывая потери в 1942–1944 гг., можно предположить, что сперва их было больше, около миллиона. Из них, наверное, 500–700 тысяч великороссов.

В Бутырках я играл в шашки с бывшим учителем, заведовавшим русской школой под немецким управлением. Как-то, задержав ход, я спросил его, почему он сделал свой выбор. Партнер взглянул на меня своими серо-стальными глазами и ответил: «Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Кивнув головой, я двинул шашку вперед. Думаю, что миллионы крестьян не простили Сталину коллективизации. Им было легко поднять оружие против Сталина. Кстати, и голод прижимал военнопленных, но дело не только в голоде...

Мужикоборец не мог не мстить мужикам за зло, которое он же им причинил, и охотно бы сослал всю Украину. Но угроза поголовной высылки нависла только над малыми народами. В России, на Украине возможен стратоцид – истребление социального слоя. А всю Украину не пересажаеть: охраны не хватит; и заселить нечем будет. Вот и обрушилась кара на малые народы, избранные козлами отпущения.

Потом калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев вернули, а немцев Поволжья и крымских татар не вернули и до сих пор бормочут различные оправдания. Допустим, что исправить застарелое зло действительно трудно. Все равно право народа на свою землю выше желания других народов пользоваться его землей – для отдыха, для добычи нефти или чего угодно. Иначе что останется от принципа федерации? Если Москва вправе выгнать целый народ, вошедший в федерацию? Почему тогда азербайджанцам не выгнать армян из Карабаха или грузинам – не ликвидировать Абхазскую АССР? Великодержавный шовинизм в Москве лишь удваивает шовинизм на окраинах.

Необходимо установить принцип, что все народы равноправны, суверенны и сами распоряжаются своей судьбой. В том числе народы малые. В том числе народы расплывенные, осуществляя свое право на культурную автономию. Существует (по крайней мере в Ленинграде) движение русской интеллигенции против шовинизма, за реальную культурную автономию всех этнических групп. Если бы Москва поддержала это начинание, сопротивление шовинистов было бы сломлено и многие вопросы, на сегодняшний день неразрешимые, решены.

Редкие цветы заносят в Красную книгу. Ландыш запрещено рвать: этому виду грозит исчезновение. Но неужели народные культуры менее ценны, чем трава полевая? Борьба за Карабах вылилась в спор союзных республик, потому что только союзные республики имеют голос. Но за другие этнические группы просто некому заступиться, и сами они – без голоса. Это вопрос, касающийся десятков миллионов людей, в том числе русских, живущих вне России.

Коммунальная квартира, в которой ответственный съемщик тиранит жильцов послабее, отнюдь не идеал. Каждый народ вправе рассчитывать на свое жилье. Степень независимости народов, распыленных и живущих плотными кучками, не может быть одинаковой; в одном случае возможна административная автономия, в другом – только культурная. Но если есть малейшая возможность автономии, она должна быть использована. Подчинение одного народа другому всегда зло (даже если это зло необходимо). И когда мыслимо избежать зла, надо его избегать. Каждый народ – суверен своей культуры. Это принцип. Это цель. А средства... Если пожелать, и средства найдутся.

Надо понять, что правительство, сознательно стремящееся к ассимиляции народов, накапливает огромные разрушительные силы (это показал опыт французов в Алжире). Языки пламени, вырвавшиеся в нескольких городах, первые сигналы пожара, готового охватить всю страну. Остались не годы, а месяцы, чтобы исправить положение (*).

(* В частности, пора бы прекратить пропаганду насилия в программе «Время». Картинки интифады заразительны. И не всегда легко объяснить, что инородцы в Фергане не оккупанты. *)

Интернационализм (переименованный в космополитизм) много лет втаптывался. И сейчас эту половую тряпку нельзя сделать знаменем. Если русских учили гордиться Дмитрием Донским, то почему татарам не гордиться Едигеем? Они попытались, но инициаторов сослали: нельзя гордиться победами над «старшим братом». На официальном уровне установлена была некая иерархия национальных величий. Но ведь это все только на бумаге, а не в народном сознании. И на бумаге – не всюду. В Закавказье возникли три несовместимые истории национального величия, три истории взаимных распрей. И в Сумгаите эта «холодная война» вышла наружу.

Нужен какой-то новый всплеск вселенского духа. О пришествии его можно только молиться. Но задача разума – создать простор для духа, создать такие внешние условия, которые не подавляют дух. Все этнические и этноконфессиональные группы вправе получить доступ в большую печать, на радио, на телевидение. Свобода всех движений – единственное условие, при котором возможно развитие движений экуменических и суперэкуменических. Только свободные существа и свободные группы могут найти путь к диалогу.

Призрак имперского величия, которым Сталин поманил русский народ, ничего этому народу не дал, кроме нищеты и нравственного оскудения. Гигантские расходы на вооружения разоряли в первую очередь именно Россию (многие окраины изловчились и создали свою подпольную экономику). А спесь, упорно пропагандировавшаяся в течение сорока с лишним лет, растлевала народный дух. Имперские претензии – одно из главных препятствий на пути перестройки. Русь далеко не во всем великая. Кое в чем – и малая. Великая в духовных порывах и в ратных подвигах, но не в администрации, не в хозяйстве. Оттого и сложилась огромная, но дурно управлявшаяся империя. И перестройка требует высвобождения энергии малых народов, может быть менее славных на поле брани, но лучших хозяев.

Пора всем нам учиться политическому плюрализму, умению вести себя как в парламенте, а не на вече, способности к самоорганизации и чувству ответственности митингов, наконец, бережному отношению к природе и культуре добросовестного труда, никогда не стоявшей в России особенно высоко, а за последнее время почти забытой. Пора учиться, как жить без «социалистического подхода к прилавку». Учиться не стыдно. Стыдно

оставаться неучем.

Есть, однако, проблемы, решению которых не у кого учиться: неповторимые проблемы Евразии, связанные с ее положением на стыке культурных миров. Здесь простор для творческого разума... Но его нет и не может быть, пока нет даже элементарной информации об этнических конфликтах. Нельзя рассчитывать на перестройку, сохраняя брежневский принцип: по линии наименьшего сопротивления у нас все обстоит благополучно.

Во всем этом есть еще своя этическая сторона. Моральное оправдание верховной власти – защита слабых от сильных. За последние годы сплошь и рядом делалось противоположное: защищались большие народы, чтобы их не беспокоили вопли малых (крымских татар, армян из Карабаха). К сожалению, эту политику поддерживает часть русского общественного мнения. Само выражение «малый народ» стало символом зла в модных теоретических построениях, и обдумываются средства, как от него избавиться. Ветер национальной обиды становится бурей во всех углах, где для обид достаточно оснований, и чувство обиды становится всеобщим.

Советская пропаганда, десятки лет разжигавшая пламя антиколониальных движений, пожинает свои плоды: вспышки интифады начались в нашей собственной Азии. Все смертельно обижены друг на друга, и навстречу рациональным планам перестройки поднимаются волны иррационального, «подпольного» (в понимании Достоевского).

В 60-е годы иррациональное как-то выносилось за скобки. Казалось, что общество развивается в осознанном направлении – или по крайней мере пытается развиваться – и это движение даст когда-нибудь плоды. Поэтому господствовали рациональные схемы исторического процесса. Но когда движение уступило место гниению, разум потерял кредит. Человек захотел вырваться из материи, особенно из материи истории. На кой нам ее законы, если по ним выходит гнить, гнить, гнить... А потом все вдруг рухнет, как старый гриб...

В этот миг, словно по заказу, два журнала опубликовали статьи Л. Н. Гумилева, и все заговорили об этносах. Откуда-то (может быть, из космоса) приходит импульс и заряжает нескольких людей страстью. Эти люди, пассионарии, пытаются нарушить господство инерции. Если судьба дает им победу, страстность постепенно выветривается. Консорция (союз, подобный браку по любви) постепенно уступает место конвексии, царству привычки; а потом конвексия разваливается, уступая место новым консорциям. Все консорции равноценны: отряды викингов, школа импрессионистов, общины первых христиан одинаково суть воплощения космической энергии. Никакой иерархии, никакого общего смысла, никакого Бога, ради которого живут и умирают люди и народы. Вместо передового класса на вершину поднят этнос (народ, нация?) – до тех пор пока молод. А состарится – туда ему и дорога.

Теория одновременно отражала то, что все чувствовали (господство инерции, ожидание нового), и формировала процесс, направляя его к новому морально-политическому единству. Не на основе старой идеологии, не на общем чувстве пролетарского, коммунистического, советского, а иначе: на основе общего подсознательного влечения к русскости, по сути дела такой же условной и безразличной к реальным группам, на которые распадается цивилизованное общество. По теории этносов, все франки презирали мусульман за многоженство, а все мусульмане находили бесстыдными франкских дам, не прикрывавших своего лица. По теории этносов поныне ведет себя народ в обстановке военной истерии: все вместе ненавидят немцев. По теории этносов, все (или почти все)

азербайджанцы были возмущены требованиями армян Карабаха. Но москвичи, голосовавшие за Илью Заславского, вели себя вопреки теории этносов, и именно это характерно для современного народа, состоявшего из ряда меньшинств (политических, религиозных, классовых, возрастных, половых, иногда этнических), меньшинств, группирующихся во временные блоки, текучие и изменчивые, не поглощающие личность целиком. Ибо основа современного общества – свободная личность, а не племенной индивид, всегда верный племенным стандартам, всегда любящий щи и не любящий устриц.

Я уделил некоторое место теории этносов в статье о субэкуменах, то есть устойчивых коалициях культур (христианский мир, мир ислама и т. п.), и, когда статья была напечатана (*), послал оттиск покойному г-ну Кейюа, в журнал «Диожен». Господин Кейюа ответил, что статья подходит, но надо опустить критику теории этносов: она неинтересна западному читателю. Я удивился: почему неинтересна? Мне и теория, и критика этой теории казались интересными.

(* См. Ученые записки Тартуского университета, 1976. № 392. *)

Подумав, я нашел три причины равнодушия г-на Кейюа к идеям Л. Н. Гумилева. Для нас этносы были отдушиной в абстрактном схематизме производительных сил, производственных отношений и т. п. категорий. Но на Западе такого обязательного схематизма не было и не было эффекта освобождения от него, окунания в страсти готов и гуннов, викингов и монголов. А трезвому бросалось в глаза, что Л. Н. Гумилев смешивает совершенно разные вещи: «Так именно (на подсознательном влечении друг к другу. – Г.П.) зарождалось на семи холмах волчье племя квиритов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов... монголы в XIII в., да и все, кого мы знаем» (*).

(* Гумилев Л.Н. Этногенез и этносфера. – Природа, 1970, № 1, 49–50. *)

В мире Л. Н. Гумилева ветхий Адам никогда не становится новым Адамом (и даже задача такая не создается). Никак не объясняется, почему буддизм и ислам покорили себе завоевателей-монголов; по логике теории, скорее монголы должны были обратить покоренные народы в шаманизм. И непонятно, зачем славяне оставили своего Перуна и Ярилу. Разве в них меньше пассионарности, чем в распятом еврее?

Гумилев – тюрколог, он много занимался историей племенных движений, потрясавших мир. В этой области все этнично, уходит корнями в племя либо создается новый племенной союз, объединенный вокруг нового вождя. Теория этносов просто-напросто распространяет племенные нормы на динамику цивилизаций. Для француза это нелепость. Прочитав, что школа импрессионистов – этнос, г-н Кейюа, вероятно, дальше и разбираться не стал. Но в многонациональной России социальные сдвиги действительно принимали иногда характер этнического сдвига, резкого изменения удельного веса той или иной этнической группы в политике и культуре. Как это происходило, я описывал в своей книге «Сны земли» (Париж, 1985) и еще раз описал в докладе «Смена типажей на авансцене истории и этнические сдвиги» (читан в Институте истории 24 мая 1989 г.) (*). Теория этносов делает этнический привкус социальных сдвигов самой сутью процесса. Это соответствует нынешнему настроению части русских интеллигентов и дико со стороны.

(* Напечатано в журнале Общественные науки и современность, 1990. № 1. 326 *)

Вторая причина неблагосклонности г-на Кейюа к нашему кумиру – то, что теория пассионарных групп Л. Н. Гумилева – очень близкая параллель к теории харизмы Макса Вебера. По Веберу, взрывные события истории коренятся в личности вождя, харизматического лидера, своего рода пророка. Если вождь добивается успеха, через какое-то время наступает рутинизация харизмы. По Гумилеву, вождей, страстно захваченных новым чувством жизни, может быть несколько, целая группа. Иногда это верно. Но дальше модель Гумилева отличается от модели Вебера только терминологией: вместо рутинизации харизмы – переход от консорции к конвексии...

Попробуем приложить обе модели к знакомому материалу. Ленин был действительно вождем, Брежнев считался вождем по должности. ЦК, избранный на VI съезде, можно описать как консорцию, брежневское руководство – как инерционное тело, конвексию. Это не две теории, а два варианта одной теории. Наиболее важное различие – то, что пассионарная группа (по Гумилеву) создает новый этнос, а веберовская харизма этнически нейтральна. С точки зрения француза, Вебер мыслит корректно, а Гумилев – некорректно.

Каждая модель Вебера – инструмент, приспособленный для решения определенной задачи, а не отмычка ко всем секретам истории. «Да и все, кого мы знаем» – фраза, для Вебера невозможная. В «Протестантской этике» создается модель генезиса капитализма, в идеальных моделях индийской, китайской, японской культуры Вебер – один из основоположников современной культурологии, а для взрывных, непредсказуемых исторических движений создана теория харизмы. Идеологии из этого не построишь. Для идеологии нужна теория, объясняющая все богатство истории чем-то одним; и третья причина успеха теории этносов в нашей стране (и равнодушия г-на Кейюа) – то, что это идеология, ненужная деидеологизированному Западу.

Впоследствии Л. Н. Гумилев дополнил свою теорию экологическими соображениями (в первый публикациях этих соображений не было) и попытался вывести экологические катастрофы из «химерического комплекса», то есть из переплетения внутренне несовместимых этносов. Примером химерического комплекса было избрано манихейство. Соль здесь заключалась в том, что Мани в юности испытал влияние иудеохристианства. Таким образом, козел отпущения был найден. Между тем ортодоксальное христианство тоже было создано «химерическим комплексом» – взаимодействием иудеев и эллинов (а впоследствии и римлян). Из чего следует, что несовместимых этносов нет, а трудное совмещение может быть чрезвычайно плодотворным.

Статью Бородая, в которой популяризировались новые идеи Л. Н. Гумилева, официально осудили за расизм (факт не частый в период застоя), но «Этногенез и биосфера» был взят на депонент в Институте научной информации, и с него разрешалось делать ксерокопии; число их достигло 20 000. Таким образом, идеи Л. Н. Гумилева распространялись, как картофель во Франции XVIII в., когда королевский министр Тюрго дал гласный приказ охранять склады с картофелем и негласный – охранять плохо, не мешать крестьянам украсть то, что от них скрывают.

Можно отметить родовые черты теорий времен застоя: власть подсознания в выборе ценностей – и однозначное объяснение мира. Этот мифологический иррационализм в сочетании с мифологическим рационализмом можно проследить у всего «правого диссидентства».

Крупнейшее явление его – теоретическая деятельность А. И. Солженицына, начатая в сборнике «Из-под глыб». Принятые правительством меры ограничились кругом читателей

«Глыб», но тот, кто прочел «Этногенез», Солженицына также знал.

На первый взгляд Солженицын и Гумилев резко противоречат друг другу. Теория этносов не допускает никаких всеобщих нравственных принципов, а Солженицын ведет борьбу с Мировым Злом во имя Мирового Добра. Однако обе теории ведут к одному и тому же: к новому морально-политическому единству; только достигается это единство разными способами: подсознательным сплочением этноса или объединением вокруг пророка, который твердо знает, где добро и где зло.

Неукротимая энергия, мужество и дар слова сделали Солженицына бесспорным духовным вождем. Влияния его почти невозможно избежать. Но это влияние нравственно противоречиво. С одной стороны, оно направлено против официальной лжи; с другой – основано на чрезвычайно узком понимании истины и в полемике не стесняется в средствах: всякое противоречие в глазах Солженицына не другой подход к истине, а ее извращение, ересь. Отсюда архаический стиль полемики.

Солженицын – принципиальный противник плюрализма, то есть выхода из морально-политического единства в нормальную цивилизованную жизнь. Он спрашивает: «Может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом, и притом среди высших? Странно, что простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм – да, охотно признаем, – однако цельного движения человечества? Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, истина одна – и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет... А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, и зачем из этого несовершенства делать культ „плюрализма“?...» (*)

(* Вестник Российского христианского движения (РХД) 130, Париж, с. 134. *)

Не знаю, нужно ли защищать принцип, существующий 2,5 тысячи лет. Философский плюрализм основан на убеждении, что божественное целое не дается отдельному уму. По индийской притче, четверо слепых ощупывали слона. Один пощупал хобот и сказал: слон похож на змею. Другой пощупал клык и нашел сходство с копьём. Третий – брюхо и сравнил его с мешком. Четвертый – ногу: она показалась столбом. Вывод из этой притчи – терпимость к чужим верованиям: все они – метонимии истины, часть, принятая за целое, но часть реальная, живая. Солженицын ссылается на современную науку, достигшую большего, чем древние метафизики; сошлюсь и я на Нильса Бора: «Поверхностной истине противостоит ложь; глубокой – другая истина, также глубокая».

Общественные науки имеют дело с бесконечно глубоким – с человеческой душой; поэтому точно и однозначно здесь ничего нельзя доказать. «Все гуманитарные науки, – писал Хайдеггер, – да и все науки в живом существе, именно для того, чтобы оставаться строгими, должны непременно быть неточными... Неточность исторических гуманитарных наук не порок, а лишь исполнение важнейшего для этого рода исследований требования» (*). Поясню: точность – функция операций с однозначными терминами. Чем однозначнее термин, тем мысль точнее. Можно однозначно высказаться о бензоле, нельзя однозначно высказаться о Николае II, и математика здесь не поможет: неизвестно, что считать. От историка требуется не точность (невозможная в его ремесле), а беспристрастие, свобода от ненависти. Идеал историка – Пимен в «Борисе Годунове».

(* Хайдеггер М. Время картины мира. Пер. ИНИОН. *)

Так точно дьяк, в приказах поседельй, Спокойно зрит на правых и виновных, Добру и злу внимая равнодушно, Не ведая ни жалости, ни гнева... (*)

(* Пушкин А.С. Соч. в трех томах, т. 2, с. 363. *)

Этого трудно достичь, но историк не может приблизиться к истине, не сознавая своих пристрастий и не присматриваясь к противоположной точке зрения, явно неприятной, не будучи готов принять крайне неприятный вывод. Ума тут надо не так уж много, скорее смирение. Если его нет, образование не поможет.

Образование не спасает от пристрастий. Оно развивает все человеческие качества, в том числе способность к логическому самогипнозу. Чем однозначнее отправной пункт мысли, тем этот гипноз сильнее. Если мы вглядываемся во что-то внутренне бесконечное, в личность, и не хотим терять ее из виду, то железная дорога логики ни к чему, надо идти пешком и на каждом шагу думать, куда поставить ногу. А если перед нами Ложная Идея или Образ Врага, то остается сесть в вагон и катиться по рельсам. Все больше и больше убеждаясь в своей правоте.

Образование требует внимательно относиться к фактам. Но страсть подсказывает, что факты, не укладывающиеся в концепцию, можно признать второстепенными, сомнительными и т. п. А факты, по которым, как по шпалам, проложены рельсы логики, становятся незабываемыми, коренными, решающими (примеры читатель может набрать в полемике Кожина с Сарновым). Когда страсть ослепляет, цивилизованный человек ничуть не лучше дикаря. Он (по словам английского этнографа Тейлора) видит то, во что верит, и верит в то, что видит. Так именно видит А. И. Солженицын.

«Под словом „Революция 17-го года“ я понимаю некий единый процесс, который занял по меньшей мере 13 лет. То есть от Февральской революции до коллективизации 30-го года. Собственно, только коллективизация и была настоящей революцией, потому что она совершенно преобразила лицо страны. Так вот, я должен сказать, что я за эти 45 лет установил, что процесс совершенно единый... Вот пересчитывал день за днем и убедился, что уже в марте 1917-го октябрьский переворот был решен, что есть единая линия: Февральская революция – Октябрьская революция – Ленин – Сталин – Брежнев...» (*)

(* Вестник РХД, 138, с. 258. *)

С марта 1917-го по март 1930-го все предопределено. Однако до марта 1917 г. предопределенности не было, и, если бы сделать то, что надо, империя Романовых могла сохраниться; сегодня никакой предопределенности тоже нет, можно вырваться из всемирной истории, уйти на северо-восток и там лет 100–150 залечивать русские раны. Солженицын не замечает, что скачки от индетерминизма к детерминизму и потом опять к индетерминизму совершенно нелогичны и отражают скорее его настроение, чем реальность; что либо свобода воли, свобода выбора есть (тогда она была и в 1921-м, и 1929 гг.), либо ее нет (тогда и сегодня ее нет).

Солженицыну нужно чувствовать себя абсолютно правым в борьбе с абсолютной ложью. Это так и было в работе над «Архипелагом ГУЛАГ». Именно очевидность зла, возможность безапелляционного приговора вдохновляли и захватывали его. Здесь его величие, его подвиг. Но во всем, что написано после «Архипелага», бросается в глаза ограниченность мышления, резко делящего мир на черное и белое, зло и добро. Солженицын берется за историю революции, за отношения между народами... Но революция – это трагедия, в которой обе стороны чувствуют свою правоту; а в

отношениях между народами вообще нет ни черного, ни белого – все пестро.

Первые страницы его статьи «Раскаянье и самоограничение» прекрасны. «Разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии и в постоянном перемещении то теснима светом и отдает больше ему, то теснима тьмой и больше отдает ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавка навсегда, а со временем и с поступками человека меняется» (1*). Я готов здесь подписаться под каждым словом. «Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уже не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на земле-то нам уцелеть» (2*). Опять подписываюсь (впрочем, что-то подобное и сам писал в 1969 г., в послесловии к «Человеку ниоткуда»). И дальше: «Если не вернем себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна и увлечет за собой весь мир» (3*). Все прекрасно, но, как только доходит до дела, верх берет патриотическая страстность.

(1* Из-под глыб. Париж, 1974, с. 118. *)

(2* Там же. с. 117. *)

(3* Там же, с. 130. *)

«Одна из особенностей русской истории – что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого, и пробуждаясь к раскаянью, нам много вспоминать придется внутреннего, в чем не укорят нас извне» (1*). Таким образом, с самого начала русская вина перед другими народами отрицается «в массовом виде и преимущественно», то есть неприятные факты относятся к мелким (немассовым) и несущественным. Особенно резко подчеркивается преимущественность русских страданий после революции. «Я хочу напомнить А.Д. (Андрею Дмитриевичу Сахарову. – Г.П.), что „ужасы гражданской войны“ далеко не „в равной степени“ ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом...» (2*)

(1* Там же, с. 126. *)

(2* Континент. № 2, с. 357–358, 141, 137. *)

Честно говоря, тезис Сахарова – что все страдали одинаково – так же недоказуем, как тезис Солженицына. Где те весы, чтобы взвесить страдание народов? И даже одного человека? Но позиция Сахарова этически плодотворна (отбрасываем все счеты), а доказывать, что мы страдали больше всех, – значит раскармливать обиду.

Как это ни странно, Солженицын убежден, что Божьи весы в его руках, и все у него взвешено, сосчитано, измерено. «Татарское иго навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда большей, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки достаточно погрохали и в подвалах ЧК, и на задворках русских деревень...» (*)

(* Там же, с. 141. *)

Покаяние дается Александру Исаевичу только в том случае, если нет никаких взаимных

счетов: перед малыми народами Сибири, перед кавказскими горцами. Если же счеты взаимные, то русские всегда чуть-чуть темнее снега, а обидчики России – чуть-чуть светлее сажи. Такие попытки подвести счет обидам непременно ведут к новым спорам и новым обидам, примерно как при полемике между армянскими и азербайджанскими историками. Солженицын провозглашает хороший принцип: «Если ошибиться в раскаянье, то верней – в сторону большую, в пользу других» (1*). Но он решительно не в состоянии выдержать этот принцип. Переполненный чувством обиды, он легко становится пристрастным (2*).

(1* Там же, с. 137. *)

(2* Примеры приводятся в моей книге «Сны земли», Париж, 1985, ч. 6.*)

Творчество И. Р. Шафаревича можно поставить посредине между теорией этносов и теоретическими усилиями Солженицына. В книге «Социализм» предмет берется абстрактно, как постулат, по-сталински: где полностью господствует государственная собственность, там социализм; где этого нет, социализма тоже нет. Таким образом, из социализма выброшен Роберт Оуэн, и в социализм включены эксцессы восточной деспотии; провал некоторых древних царств рассматривается как доказательство, что социализм – воля к смерти. Нет даже попытки взглянуть на социализм как сердечное чувство неудовлетворенности капитализмом и ряд противоречивых, не укладывающихся ни в какую формулу, но исторически живучих проектов и попыток приблизить общество к организованности и справедливости. Впрочем, книга Шафаревича может быть полезной как критика административно-командной системы; если Сталин прав, то Шафаревич тоже прав.

Теоретическим ядром «Русофобии» является концепция «малого народа». «Малый народ» – своего рода пассионарная группа, совершающая революцию. Особенность этой группы – активное участие в ней евреев. Это напоминает «химический комплекс» Л. Н. Гумилева. Путь к спасению мыслится как освобождение от «малого народа» и объединение вокруг русского светлого прошлого (заменившего светлое будущее). Всякая критика русских политических традиций вызывает острое чувство обиды и рассматривается как ненависть к России и духовное вредительство.

Наиболее содержательная работа Шафаревича – его недавняя статья «Две дороги к одному обрыву» (*). Там есть несколько хороших страниц о кризисе цивилизации. Но тревожное сознание кризиса переплетается с несколькими ложными идеями. Одна из решающих ошибок – злоупотребление словом «утопия». Дав утопии свое собственное (слишком узкое) определение, Шафаревич не замечает, что утопия – нечто несбыточное, вроде вечного двигателя. Между тем западная цивилизация эффективнее всех прежних. В утопиях XVII–XIX вв. выразились некоторые общие черты западного рационализма. Но из этого не следует, что западная цивилизация в целом утопична. Она перекошена в сторону рационального («иметь», «яв») в ущерб целостному («быть», «инь»). Сегодня это на Западе ощущают очень многие и ищут выход из кризиса, ищут с большой энергией. Но идеально уравновешенной цивилизации никогда не было. Они все перекошены – или в сторону динамики (и угрозы развала), или в сторону стабильности (и застоя). Приходится различать разные перекосы «доброкачественные» и «злокачественные». Приравнивать их друг к другу грубая ошибка. Мы действительно перед обрывом, а Запад...

(* См. Новый мир. 1989, № 9. *)

На Западе даже «центрально-административная экономика» (*) отлично работала в ходе

подготовки и ведения войны. Ленин исходил из первого варианта этой экономики, кайзеровского (1914–1918 гг.), и попытался распространить принцип немецкой военной экономики на всю хозяйственную жизнь народа. Через несколько лет стало ясно, что опыт провалился. Отсюда нэп. А потом Сталин ликвидировал нэп и вогнал нашу страну в утопию надолго и всерьез. Во время войны военно-экономическая модель сравнительно хорошо работала, но в условиях долгого мира стала нелепой. Этот пример еще раз показывает, что граница между утопией и творческим нововведением довольно условна, текуча. И нет ничего мудреного в том, что европейские интеллигенты, сочувствующие социалистическому эксперименту, не сразу в нем разобрались. Это загадка только для Шафаревича, в уме которого социализм просто и однозначно определен как воля к смерти.

(* Наиболее полно описанная, на опыте Германии 1933–1945 гг., в старой книге Gensel, «Zur Theorie der Zentralverwaltungswirtschaft» (я ее реферировал в 1958 г. и сдал русский текст в Институт экономики). *)

Другая мнимая загадка – сочувствие Запада борьбе диссидентов за права человека. «Я не помню, – пишет Шафаревич, – чтобы права человека поминались в связи, например, с коллективизацией у нас или „культурной революцией“ в Китае» (1*), с китайской политикой ограничения рождаемости или с разрушением биосферы американской промышленностью (2*). «США существуют за чужой счет, за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, чтобы такая ситуация связывалась с категорией „прав человека“. Зато ограничение эмиграции (это прежде всего!), запреты демонстраций или партий и связанные с нарушением таких запретов аресты рассматриваются как нарушение столь фундаментальных „прав человека“, что оказывается препятствием в переговорах по ограничению вооружений или по расширению научных связей. Создается впечатление, что понятие „права человека“ не имеет какого-то самоочевидного содержания. Такая неопределенность дает возможность пользоваться этим понятием как полемическим приемом. И в отношении к нашей стране это скорее всего именно такой полемический прием, а сама причина враждебности лежит где-то глубже» (3*).

(1* Новый мир, 1989, № 9, с. 149. *)

(2* Проблема эта сама по себе ставилась, и неоднократно; первыми ее поставили сами американцы. *)

(* Новый мир, 1989, № 9, с. 150. Ср.: Наш современник, 1989, № 6, 11. *)

Можно ответить напрямую, что без «прав человека», без легальной оппозиции, без права Сахарова выступать против правительства и предостерегать Запад от ошибок переговоры об ограничении вооружений не стоят ломаного гроша. Однако мне хочется углубиться в историю и проверить аргументацию Шафаревича на других фактах. Разве лорды, вырвавшие у Иоанна Безземельного Великую хартию вольностей, были самыми обездоленными в Англии? Верно как раз обратное. Но они осознали права личности и потребовали признания этих прав государством. Опыт показал, что именно такой путь, начиная с осознания себя личностями меньшинства, исторически плодотворен и приводит к свободе и достоинству для всех. Напротив, движение обездоленных масс может привести в случае победы только к обновлению деспотизма. Г.П.Федотов оценивал так гипотетическую возможность победы пугачевцев. Так практически было при победе крестьянских восстаний в Китае. Вождь восстания, свергнувшего космополитическую династию Юань и основавшего национальную династию Мин, был одним из самых

жестоких деспотов в истории Поднебесной.

Права человека, за которые вступался Запад, – это права человека, осознавшего свои права и борющегося за свои права. Запад не вступился за китайских крестьян, убивавших новорожденных девочек, потому что крестьяне оставались в замкнутом кругу китайских обычаев. Но когда китайские студенты потребовали политических реформ и были расстреляны, не протестовал только Советский Союз. Хотя евреев в Китае практически нет, и проблемы еврейской эмиграции тоже нет; так что и восклицательный Шафаревичу знак негде поставить.

Запад откликнулся на события в Китае так же, как в России. Это не интрига, это принцип. Не было никакой общей враждебности к Китаю (синофобии), так же как нельзя объяснить враждебностью к нашей стране (русофобией), что Запад последовательно защищает личность против распухшего государства: Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, Литвинова и Богораз, наконец, Сахарова и Солженицына, когда на них обрушились прямые репрессии сверху и поток клеветы в прессе.

Нельзя сказать, что крестьян, умиравших в 30-е годы, вовсе не защищали. О них кое-что писали, и была целая кампания против советского демпинга – (вывоза дешевого зерна и леса за счет голода). Но писали меньше, чем следовало; отчасти – из-за общеполитической обстановки. Страна, рванувшаяся прочь из тупика национальной ненависти, вызвала волну сочувствия, которая не сразу улеглась. А потом сковывал страх потерять союзника в борьбе с Гитлером. Но сказались и ограниченность прессы.

Диссиденты имели возможность и имели мужество нарушить советское табу: Литвинов и Богораз создали первую в нашей стране диссидентскую пресс-конференцию; за ней пошли другие. Запад их не предпочел – они сами предпочли обратиться к Западу. Крестьяне не могли этого сделать. А самих корреспондентов в районы голода не пускали. Когда режим достигает такой тотальности, как сталинский, его не уколупнешь. Корреспонденты получили возможность втыкать свои персты в язвы только после того, как язвы эти полуоткрылись, то есть после известной либерализации. Они докалывали то, что уже само по себе трескалось. А в 30-е годы достоверных фактов не хватало. Слухи опровергались. В советских газетах печатались фотографии упитанных немцев-колонистов, уверявших, что никакого голода на Украине нет. Я эти фотографии помню. Хотя им не верил (у меня была своя «неформальная» информация с Украины). А левые интеллигенты, захваченные своими проблемами, могли закрывать глаза на «отдельные перегибы». Так же как антикоммунисты на 500 тыс. коммунистов и китайцев, вырезанных в Индонезии в 1965 г. Во всех партиях та же ограниченность партийного сознания...

И. Шафаревич считает русофобией всякую попытку исследовать, почему Россия первой бросилась в утопию. Он цитирует прекрасную работу Ксении Григорьевны Мяло «Оборванная нить» (1*) в доказательство того, что утопия была России навязана. Но статья Мяло посвящена староверам, то есть очень малой части русского крестьянства и русского народа, сохранившей допетровскую культуру и в то же время накопившей динамизм угнетенного и преследуемого меньшинства, чего-то вроде диаспоры. Столыпин не рассчитывал на эту уникальную группу и сделал ставку на отруб, то есть на переход от крестьянина к фермеру. Я верю на слово Ксении Григорьевне, что стоило попробовать программу Чаянова и что она лучше бухаринского ТОЗа (товарищества по совместной обработке земли). Но мне кажется, что это вряд ли сохранило бы традиционный крестьянский «мир» во всей России. Та или другая форма сельскохозяйственной кооперации – альтернатива ферме, проверенная опытом нескольких стран, – не меньше, чем частное хозяйство, опирается на науку (а не на космическое чувство. Крестьянская

цивилизация ни в одной стране не устояла перед промышленным переворотом и НТР). Статья Мяло – конкретное исследование; оно доказывает, что староверческие общины могли бы уцелеть. Хочется в это поверить. А у Шафаревича в идеологической системе то, что у Мяло верно, становится неверным. Никакие частные парадоксы не способны упразднить логику исторического развития, которая все больше отделяет человека от непосредственного и бессознательного (или мифологически осознанного) единства с природой и в то же время требует восстановления единства через культуру созерцания, искусство и культ. Выходом из позднеантичного общества масс было не возвращение к племени, а христианская церковь, создавшая внутреннее духовное пространство в огромном обезличенном мировом городе – Константинополе. И сегодня возвращение в деревню возможно только в случае гибели 99 % человечества от какой-нибудь катастрофы (примерно как в Западной Римской империи). Если не погибнут наши города, наши нации, наши средства связи, стянувшие темной шар в один клубок, попытки перенести в этот мир деревенскую психологию заранее обречены; и отвращение В. И. Белова ко всему чуждому деревне – тупиковая линия развития. Плодотворный путь переключки с другими странами, ищущими выход из «переразвитости». Там есть течения, создающие новые связи с целостным и вечным взамен разрушенных. Решающая проблема всей мировой цивилизации – как создать чувство полноты жизни и творческое состояние у горожанина, только изредка восстанавливающего прямой контакт с природой. Впрочем, здесь нет возможности подробно разрабатывать эту важнейшую тему (2*).

(1* См: Новый мир, № 7. *)

(2* Новый мир, 1989. № 9, 165. *)

Вернемся, однако, к истории России. В ней было не только патриархальное крестьянство со своим космическим чувством, но и опричнина, и реформы Петра, и военные поселения, и другие взрывы административного восторга. Командно-административная система побеждает не во всех странах, а только в странах с традицией административного восторга; побеждает в России и Китае, но не в Англии и в Индии. Заражение идеями подобно заражению туберкулезом. Кроме палочек Коха, нужно еще отсутствие иммунитета. У России не оказалось иммунитета к прыжку в утопию. И это не следствие внешнего давления. Это коренное, медленно, веками складывавшееся свойство. Оно существовало уже в прошлом. Угрюм-Бурчеев и ретивый начальник не инородцы.

Шафаревич цитирует «русофобские» стихи давно забытых революционных поэтов, но разве это первый случай? Разве своего рода «мизопатрии» (как назвал это свойство Г. П. Федотов) не было в петровских ножницах, стригших боярские бороды? В декретах Конвента? В Красной гвардии председателя Мао?

Очень важно понять, к чему мы возвращаемся и от чего отталкиваемся. Не только от чужого отталкиваемся – но и от своего (глуповского). Не только к деревенскому возвращаемся, но и ко всемирной отзывчивости, к чувству связи со всем духовно ищущим миром. И. Шафаревич выступает против того, что он называет схемой, но преувеличение западной рассудочности и бездуховности тоже схема. Чрезмерное копирование западных образцов нам пока мало грозит. Пока что мы совершенно недостаточно перенимаем чужой хороший опыт и настаиваем на своих доморощенных проектах (вроде процеживающих комиссий на выборах). И есть опасность, что старый вечный двигатель (прогрессивный) будет заменен новым вечным двигателем (консервативным, с идеалом вечной Тимоники). В этом духе посчитался мне конец статьи: "...возможно по крайней мере освободиться от мертвых схем... Одной из таких схем и представляется мне противопоставление командной системы западному пути как двух диаметрально

противоположных выходов, из которых только и возможен выбор» (*).

(* Новый мир, 1989. № 9, 165. *)

Нет слов, все европейское (и американское) надо подгонять по своему росту (как это успешно сделала Япония). Но не дай Бог опять попытаться выпрыгнуть из истории, полной опасностей, и заняться разработкой вечного двигателя, который и естественную среду не погубит, и нравственность укрепит, – и все это только на бумаге, а работать не будет. И опять придется искать вредителей, подсыпаящих песок в шестеренки, и сочинять еще одну «Русофобию».

И. Р. Шафаревич вполне логичен. Но он логичен в рамках чересчур прямолинейной логики, неприложимой к явлениям истории. Судя по интервью в «Книжном обозрении», мир резко делится для Шафаревича на черное и белое. Белое – это ностальгический образ царской России, сложившийся в детстве при чтении старых книг из отцовской библиотеки. Черное – это разрушители белого царства, которых с детства возненавидел неугасимой детской ненавистью, – и так на всю жизнь. У этих черных людей не было светлых мотивов; они не боролись со злом, они сами эссенция Мирового Зла. Это евреи и либералы. Ненависть к евреям выражена в «Русофобии», на страницах «Книжного обозрения» достается либералам. Они виноваты во всех несчастьях человечества, например не консерваторы, а либералы искали соглашения с Гитлером. «Черчилль перед войной своевременно предупреждал об опасности со стороны Гитлера. Но английские либералы только рисовали на него карикатуры» (*). Видимо, и Гинденбург, и Папен, подсадившие Гитлера в канцлеры, тоже кажутся Шафаревичу либералами; и Невилл Чемберлен, подписавший мюнхенские соглашения, тоже либерал (хотя все-таки он ничуть не либеральнее Черчилля; только трусливее).

(* Книжное обозрение. 1989, № 34, с. 7. *)

У Шафаревича глаза дальтоника. В сложном переплетении цветов времени он видит ярче всего то, что с детства ненавидит, и этот ненавистный цвет заслоняет для него все прочее. Мысль Шафаревича какая-то однокрылая. Из его картины кризиса старого режима совершенно выпали гниение и внутренний распад монархии. Читаешь, и хочется поверить, что мы с Горемыкиными и Штюмерами благополучно дожили бы до 1989 г., - лишь бы Милюковы и Керенские держали язык за зубами. То же самое во Франции XVIII в. (наверное, и в Англии XVII в., и в Голландии XVI в.; наверное, и римляне ошиблись, что свергли Тарквиния; все равно ведь пришлось вернуться к монархии). Когда эта философия истории переносится на Съезд народных депутатов, становится непонятным, кого я читаю: не оратора ли несравненного большинства?

«Память» для Шафаревича сопоставима с народными движениями Прибалтики. Выносятся за скобки, что одного из лидеров «Памяти», Васильева, пришлось предупредить насчет ответственности в случае погрома. Так что напрашивается параллель скорее с азербайджанским обществом «Родина» (которое, к сожалению, вовремя не предупредили), но различие между цивилизованной национальной сплоченностью и истерикой («наших бьют») можно считать несущественным и выдвинуть другой критерий: «за» и «против» империи. Общество «Память» – за империю, прибалты – против. Я считаю сохранение империи бессмысленным и обреченным делом, я двадцать лет ратую за освобождение русского духа от имперской спеси – поэтому я русофоб. Логика железная. Как сказано у Шекспира, «в его безумии есть своя система».

Почему эта система оказалась привлекательной для нескольких сот тысяч читателей? На

это есть несколько ответов, которые не исключают, а дополняют друг друга.

Первый ответ – Фазиля Искандера: «Когда общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное достоинство начинает раздуваться, как раковая опухоль. Общество должно вернуть человеку его социальное достоинство, и тогда националистическая опухоль сама рассосется» (*).

(* Знамя. 1989, № 9, с. 54. *)

Второй ответ – Мариэтты Чудаковой: «Я бы опять начала со слов о русском народе. Его положение стало по-настоящему трагично. Им действительно потерян пафос, и с этим связано, возможно, какое-то прямо не выявленное, бессознательное чувство зависти, что ли, к соседним народам, многими из которых сейчас владеет ощущение, что они завоевывают мирными путями собственную землю, – это и держит их в патетическом состоянии. Скажите, пожалуйста, у кого отвоевывать русскому народу Россию? Его лишили, в сущности, своей страны – и при этом совершенно не у кого ее просить или требовать обратно... Я назвала бы это историческим ужасом. И, не осознавая его, многие склонны обвинять другие народы.

Но есть и те, кто отдает себе во многом отчет и все же продолжает раззадоривать людей, усугубляя этот ужас, – их я слушаю и читаю с горечью. Вернуть себе волю к созидательному, а не разрушительному действию – вот что нам предстоит» (*).

(* Литературная газета, 1989, № 38, с. 3. *)

Академик Тихонов внес в рассмотрение проблемы социологический аспект, допускающий количественные оценки. Он пишет: «Российский народ всегда жил в положении раба (как народ). И психология раба до сих пор имеет место. И продолжает жить, как бы точнее сказать, вера, возникшая из вечного страха перед правительством» (*). По подсчетам В. А. Тихонова, 20 % современных русских крестьян готовы на риск и ответственность свободы; остальные 80 % (или по меньшей мере 60 %) предпочитают колхозное ярмо с обеспеченным прожиточным минимумом. Нужно четверть века, чтобы воспитать новое поколение, чтобы вывести народ из страны рабства. Это настолько неотложная, настолько мучительная проблема, что было бы безумием поддаваться на вопли патриотов, которым рабство нужно и привычно, а невыносимо только слово «раб».

(* Огонек, 1989, № 36, с. 3. *)

Повышенная национальная обидчивость, переходящая в агрессивность, подсознательно найденное средство сохранить чувство самоуважения, оставаясь рабом. Сталин прямо целил в это, назвав русских старшими братьями, и попал в точку. Его политика вызвала массовую поддержку – и сейчас находит в «Москве», «Молодой гвардии», «Нашем современнике». Тут нельзя все объяснить прямой, денежной корыстью. Важнее более тонкая, духовная корысть – потребность во внутреннем комфорте. Обидчивость многих наших патриотов, читателей Шафаревича, подтверждает то, что он пытается опровергнуть, что нам еще надо по капле выдавливать из себя раба.

С этой моральной задачей переплетается интеллектуальная: освобождение от черно-белого мышления, от привычки помещать все зло в одном месте.

Несколько лет назад в «Вестнике РХД» была опубликована статья М. Бернштама – статья, в которой геноцид рассматривался как типическое порождение социализма. При этом ни

автор, ни редактор (Н.А.Струве) не заметили, что младотурки, давшие приказ вырезать армян, не были социалистами; да и его величество кайзер Вильгельм II, войска которого истребляли гереро (в Юго-Западной Африке), тоже не социалист. И ликвидация известных классов (к чему действительно тяготеют некоторые социалистические маньяки) отличается от истребления армян или евреев примерно так же, как гражданская война – от войны между нациями. Одно дело – геноцид (полное истребление опасного племени), в другое – стратоцид (ликвидация опасного класса). Первое старо как мир (следы его можно найти и в Библии, и у Нестора-летописца: «Погибоше аки обре, их те несть ни племени, ни наследка»). Второе действительно принесено в мир социализмом. Но вовсе не все зло! И бессмысленно надеяться, что разрыв с коммунизмом означает разрыв со злом. Зло гораздо хитрее и проникает в мир разными, противоположными путями...

Но человеку ужасно хочется поместить все зло в одно место, в одну идею, порвать с ней и почувствовать свободу от зла. Это заложено и в яркой, увлекшей многих читателей статье Аллы Латыниной «Колокольный звон не молитва» (1*). Призрак коммунизма гуляет там по земле, нигде не укореняясь, не приобретая никаких местных, национальных черт. Ни характер народа, ни характер кормчего не имеют значения, только идея. «Последовательность, с которой и в других странах находился свой Сталин, выступал ли он под именем Мао Цзэдуна или Пол Пота, заставляет задуматься: а так ли уж много зависит в истории от грубости вождя?.. (2*)

(1* См. Новый мир, 1988, № 8. *)

(2* Там же, с. 233. *)

Индукция здесь неполная. – Прибавим пару имен: Гитлер, Хомейни. И сразу видно, что разные идеи (социалистическая, национальная, религиозная) ведут к сходным последствиям. А если поразмыслим, то можно добавить: одна и та же идея в разных странах (или в разные эпохи) дает разные следствия. На основе идей Маркса и Энгельса в довоенной Европе сложились мирные, рассчитанные на парламентские прения социалистические партии. Партия нового типа, готовая к захвату власти, была единственным исключением во II Интернационале. Но началась война, поднялась всемирная волна ненависти, и на ее гребне всюду вынесло наверх радикалов. Оберштурмбанфюрер Лисс довольно убедительно доказал Мостовскому, что разница между левыми и правыми радикалами не очень велика. Решала не идея, а радикализм идеи.

Строго говоря, и у Сталина, Мао, Пол Пота не совсем одни и те же идеи. Сталин раскрестьянивал крестьян. Пол Пот деурбанизировал горожан. На социально-политическом уровне это прямо противоположные идеи. И вот если перенести идею Пол Пота в Россию, то кто к ней ближе? Михаил Шатров или Василий Белов? Деурбанизация и деверстернизация прямо вытекают из ряда выступлений Белова, Распутина; прибавим идею десионизации, выраженную метафизически, в притче Белова о муравейнике (1*) и в его же „Годе великого перелома“ (2*).

(* См. Новый мир, 1988, № 5. *)

(* См. Новый мир. 1989, № 3. *)

Человеческая мысль много раз ломилась в открытую дверь и подталкивала в Лету идеи, которые и без того в нее падали. А потом снова начинался опасный поворот: не со старой идеи, а с новой ситуации. Исторический процесс выбивает народ из привычных условий

жизни, создает чувство беспомощности, затерянности, страха – и складывается Панургово стадо. В Германии 1933 г. решающую роль сыграл экономический кризис, в Иране – психологический (неспособность вынести шахиню в мини-юбке и американские эротические фильмы). В обстановке нарастающей истерии возникает своего рода социальный СПИД – отсутствие иммунитета к лжепророкам. Там, где иммунитет сохранился, где господствует плюрализм, идеи критически оцениваются, а лидеров критически выслушивают, и ничего страшного не происходит.

Второе условие катастрофы – „харизматический лидер“ (М. Вебер), „пассионарий“ (Л. Гумилев), человек, который „знает, как надо“ (А. Галич). Настолько знает, что заражает своей верой массу.

Третье условие – великая цель. Цель, во имя которой необходима война с Врагом (загораживающим путь к цели). Эта цель остается в области идей и практически не достигается. Важно, однако, обаяние Светлого Будущего, некое „во имя“, ради которого хороши все средства,

Идеи, способные сегодня ввести общество в состояние транса, – это не те идеи, которые когда-то соблазнили шариковых. Те давно уже на кладбище идей. Рывок назад, к тоталитаризму, из которого мы только начали вылезать, на сегодняшний день возможен под сегодняшним знаменем: за экологическое равновесие, за спасение от наркомании и алкоголизма, от коррупции, от аэробики и рок-н-ролла. Если все равно – четвертование или шельмование (то есть все равно, террор или гласность), – то почему не вернуться к террору и старыми испытанными методами не навести порядок? В этом пункте генерал-полковник Родионов и писатель Валентин Распутин сошлись во взглядах. И обоих провожали бурные, продолжительные аплодисменты несравненного большинства.

Нельзя спастись от катастрофы, изъев из обращения опасную идею. Опасны все идеи; во всяком случае, очень многие. Если атмосфера насыщена парами бензина, любая искра способна вызвать пожар. Спасение только в плюрализме, то есть в понимании условной, неполной истинности всех идей: политических, религиозных и философских. Спасение в личности, свободной от магии идей, в личности, которая не бросится, как овца, за бараном Панурга.

Скажем еще раз: теория этносов и другие (гораздо более примитивные) концепции периода застоя захватили умы на фоне общего желания выпрыгнуть из материи; не только из материи истории – из всякой материи. Общество вело себя как больной неизлечимой болезнью. Оно жаждало вечности и обращалось к Богу, а через минуту бросалось к знахарям и колдунам; оно думало о черной магии (которая его погубила) и о белой, которая его спасет. И все смешивалось в один клубок: Бог, колдуны, знахарки, гадалки, гороскопы, этносы, велесовы книги, протоколы сионских мудрецов... Рядом с возрождением великих традиций „серебряного“ века шло возрождение малой традиции предреволюционных лет, бытовавшей среди обывателей. И кандидат наук, только что вытвердивший свой минимум, простодушно клевал черносотенную мякину.

Выросло целое поколение, не знавшее ветра истории; поколение, которое росло не в огне войны, не в испытаниях следственных камер, а в трясине. Те, кому сейчас 30, 40 лет, раньше нас многое поняли – но у них нет воли. Я говорю, конечно, не обо всех и каждом, но очень многие из этих 30-40-летних привыкли, что сделать ничего нельзя, а потому и пытаться не стоит и надо ждать светопреставления, остановить которое все равно не в наших силах. Дух пробивался сквозь эту тину и плесень с огромными потерями. Миллионы погрязли в алкогольный туман и мифологию, замешанную на ненависти.

Немногие слушали музыку Пярта и Шнитке, смотрели картины Вейсберга, Казьмина. Десятки тысяч ходили на выставки Ильи Глазунова.

Вот несколько строк из записок недавно погибшего художника Владимира Казьмина:

„Оказавшись в ситуации глубочайшего душевного кризиса, цепenea от ужаса одиночества и не имея возможности спрятаться, забыться и убежать, я стал, как тонущий, хвататься за соломинку, и соломинкой этой оказалось запомнившееся мне однажды стихотворение Лермонтова „Молитва“. В том состоянии, в котором находился, я даже не мог понять смысла того, что говорил, а только повторял эти стихи снова и снова, бормоча их почти бессознательно, вкладывая в них только то, что осталось у меня, – надежду. Перемену, которая стала происходить во мне, трудно описать, да это и незачем... Сейчас, спустя годы, я могу уже определенно сказать, что в состоянии, в котором я находился в тот момент, смысл проговариваемого мною был мне вначале совсем неважен; это была встреча с первозданной скрытой силой ритма, как в заговорах, причитаниях или детской тарабарщине. Но постепенно из недр этой тарабарщины появилось чувство, оно согрелось от повторов, как от трения, и с дыханием заструилось вверх, коснулось ума. Тогда уже появился проблеск осознания, скрытый смысл, все собралось, стало единым и связанным. Тело соединилось с умом через тепло и ритм сердца слово вернуло меня к жизни, с ним пришел свет.

Может быть, с того времени поэзия для меня стала делиться на просто поэзию и такую, на которую можно опереться в трудную минуту, которая способна прийти на помощь. Я стал искать стихи, в которых слово и ритм обладают особой силой, соединены в особом союзе, стихи, способные собрать рассыпающуюся иногда на части психику и исцелить ее, вернуть к бытию. Таким словом, мне казалось, можно возвращать к жизни и отнимать жизнь. Можно возрождать из пепла и превращать в пепел то, что достойно им стать, можно преображать и строить, через такое слово можно „стать“...

Испытывать это мне лучше всего удавалось тогда, когда мне было действительно плохо, когда обстоятельства загоняли меня в угол и не было выхода, когда не на кого было опереться и уходила из-под ног почва, – тогда со всей страстностью опирался я на самого себя, того себя, которого я еще никогда не встречал, просил его прийти, звал его, приказывал ему, прибегая к этой могущественной силе слова, и тогда... свершалось то, что я называл чудом“.

Бросается в глаза, что глубина, в которой Казьмин находил „того себя, которого... еще никогда не встречал“, лежит по ту сторону здравого смысла. Но на такой глубине без привычных ориентиров очень легко запутаться. Тибетская „Книга мертвых“ предостерегает против соблазнительных огоньков, вспыхивающих за порогом обыденного, – гораздо более ярких, чем свет освобождающей истины. И опыт массового вовлечения интеллигенции в иррациональные глубины оказался подтверждением этой старой истины. Куда только не попадали искатели тайн...

У Казьмина был природный дар различения духов. Но это довольно редкий дар, совершенно не совпадающий с общей одаренностью. Многие гении прошлого века не избежали великих соблазнов; и вместе с воскресением традиции начала века соблазны его также воскресли. Каждый кружок экспериментировал по-своему. Были даже такие кучки, где поклонялись дьяволу и радение начиналось с песни гитлеровских штурмовиков „Horstwessellied“. На полдороге в глубину сбивчивая интуиция, перемешанная с воображением дурного вкуса, создавала призраки, и место выветрившейся идеологии занимали мифы XX столетия, гибриды полунауки с голосами темного подсознания.

В 1918 г. П.А.Флоренский с болью вспоминал Вакенродера: „Кто верит какой-либо системе, тот изгнал из сердца своего любовь! Гораздо сноснее нетерпимость чувствований, нежели рассудка: суеверие все лучше системоверия“ (*). Прошло 70 лет – и мы видим (если хотим видеть), что ярость борьбы с рационализмом, торжество иррационального чувства, национальных, расовых, религиозных антипатий и суеверной интуиции ничуть не лучше мнимо рациональной утопии. Гитлеровский иррационализм не лучше сталинского рационализма.

(* Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – В сб.: Эстетические ценности в системе культуры. М., 1986, с. 114. *)

При строго охраняемом морально-политическом единстве национальность единственное удостоверенное паспортом отличие одного советского человека от другого – стала ведущим неформальным принципом. И все обиды и все ожидания стали стекаться в национальное русло (*). Нации стали политическими группировками. Начался процесс отчуждения окраин от замороженного центра; движение части евреев за отъезд было только индикатором глубинного процесса. Народы Земли уезжали незримо в свое национальное и религиозное прошлое. Кто-то неловко сравнил эмигрантов с крысами, бегущими с тонущего корабля. Корабль империи дал течь. Людей, не лишенных смутного исторического чутья, охватил страх надвигающейся катастрофы. И все стали бояться чужаков, возможных вредителей в возможных будущих катаклизмах. Фазиль Искандер создал поразительно емкий для понимания современности термин: „индурец“. Индурцы превратились в какое-то мифологическое страшилище, в воплощенного дьявола. И появились рыцари вроде И. Р. Шафаревича, бросившиеся в бой с драконом.

(* Отсюда сердечный отклик, который вызывало слово „этнос“. Раньше такой отклик вызывало слово „класс“. *)

Переплетались два процесса – прорыв к чистому свету вечности и захваченность болотными огнями ненависти и мести. Те самые люди, которые жаждали подлинной глубины и источников нравственного обновления, попадали в тупик национальной ограниченности и чуждества.

Сочетание гуманизма с антигуманизмом, мышкинской любви и рогожинских вспышек ненависти – все это уже было в Достоевском. Окруженный рационалистами XIX в., он нес в себе весь хаос XX в. Достоевский переломил влияние официальной идеологии в моем развитии. Свет, шедший через его романы, помог мне стать самим собой. И темные порывы его я чувствую, как облака, ненадолго заслоняющие солнце. Однако публицисты „Веча“ и „Памяти“ тоже опираются на Достоевского и цитируют его точно, не перевирая. Так же как сейчас активисты „Памяти“ точно цитируют Распутина и Белова.

Достоевский – бессмертный образец одаренности, вырвавшейся по ту сторону здравого смысла. С этого выхода по ту сторону здравого смысла начался его второй, главный период; и я с 1938 г. отстаивал освобождающее влияние иррационализма, отказа от всяких схем и систем в художественном творчестве. Но мне казалось и кажется безумием переносить иррационализм в решение социальных и политических проблем. Здесь куда лучше держаться научных методов.

В сознании, перешедшем через порог здравого смысла, есть какая-то повышенная неустойчивость, повышенная подверженность искушениям, повышенная готовность поверить Бог знает во, что, поддаться Бог знает каким страхам... В период застоя и

гниения положительные характеры куда-то подевались, исчезли с авансцены. Не было дела, способного призвать их. Выдвигалось вперед хаотическое, пьяное, беспорядочное. И народная анархия уравнивалась правительственным деспотизмом.

Н. А. Бердяев и Даниил Андреев писали о каком-то особом русском страхе Антихриста. Андреев находит исток этого в мучительном впечатлении от второй половины царствования Ивана Грозного. Идея подмены святыни оформилась позже, после реформ Никона и Петра, но и неявной форме она сказалась еще в Смуте. Сходные страхи и сходные образы клубились в забегаловках брежневских лет, в героях „Привычного дела“ В. И. Белова – и, как оказалось, в самом Белове. Сталинские победы и сталинские зверства хотелось отделить, приписать двум разным существам и даже сущностям. Этой потребности превосходно отвечал миф о новом Антихристе – жидомасонах.

Массовое сознание неохотно приняло правду о преступлениях генералиссимуса и легко согласилось с его реабилитацией. Но куда было девать память о чем-то чудовищном, совершившемся с нами, и чувство нарастающей катастрофы? Нужен был мифический злодей, и он был найден: там именно, куда показывал Сталин, – в кампании по борьбе с космополитизмом, в деле врачей. Некоторых писателей-„деревенщиков“ этот процесс подхватывал и снизу, стихийными волнами народных суеверий, и сверху – через редакцию „Нашего современника“, через антиссионистские книги и статьи В. Бегуна, Е. Евсеева, В. Емельянова, А. Романенко, В. Скурлатова...

Страсть к поискам виноватого принадлежит прошлому, она коренится во времени, когда творческие силы были скованы, сделать нельзя было решительно ничего путного, и праздное внимание захватил бесплодный вопрос: кто загубил Россию? Сейчас снова выдвинулся вопрос: что делать? Как только мы повернулись к нему, Шмелев или Попов на каждом шагу спорят с Беловым и Распутиным. Но консерваторы сохранили преимущество застоя – внимание к вечному. И общество оказывается перед ложным выбором между извращенной духовностью и рациональной бездуховностью. Потому что схемы прорабов перестройки захватывают ум, но ничего не говорят душе.

Можно спокойно принять этот раскол, как христиане приняли фактический раскол церкви. Но мне кажется, что духовный выход из застоя невозможен без переоценки ценностей, без выхода к новому религиозному сознанию, без заново провозглашенной открытости вселенскому духу, смывающему обиды.

Я думаю, что единственный способ действительно покончить со счетами между народами – это разделить и дебет, и кредит на бесконечность, свести к нулю. Означает ли это конец народной памяти? Нет! Но совсем не одно и то же – память обид и память ошибок, память помрачений, охватывающих народы. Чем глубже эта память, тем больше стыд за свои грехи и снисходительность к чужим.

Зарубки стыда были моими личными заповедями. Думаю, что так же складывались и общие заповеди. Что до обид, которые мне причиняли, то через несколько лет я их не помню. То есть могу вспомнить как факты, но живой памяти обид нет. И совсем дико мне кажется спрашивать с живущих за давнее прошлое. Никаких справедливых счетов между народами нет, не было и не может быть. Возможно другое: прощение. Не ограничивать надо свои обиды (как предлагает Солженицын), а простить. Это старая идея, провозглашенная еще 2000 лет назад, но ничего лучшего не придумано.

Чтобы не излагать свою мысль абстрактно, попробую разобрать пресс-конференцию Адамовича, Климова, Окуджавы и Распутина в Западном Берлине 6 марта 1987 г. Начну с

реплики Элема Климова: „Информационные функции нашего телевидения резко изменились, но когда оно выполняет развлекательные функции, то иногда становится страшно. Особенно в такие праздничные вечера или ночи, когда люди отдыхают. Иногда такое ощущение, что наступил праздник дьявола. Через телевидение часто можно почувствовать, что апокалипсис приближается. И от вашего телевидения... такое же ощущение“ (*).

(* Форум, 1987, № 17, с. 217. *)

„Вот Элем Климов здесь говорил о советском телевидении, – подхватил Распутин. – Когда оно дает развлекательные программы, то впечатление такое, что балом правит сатана. Бывают иногда такие минуты, когда кажется, что праздник дьявола состоялся уже и в народе тоже. Я говорю сейчас не о народе и его мировоззрении. Не о народе, а о населении. Потому что глянешь, что делается вокруг, и это действует так угнетающе, что уже не хочется ничего делать – ни в литературе, ни в чем другом...“ (*).

(* Там же, с. 218. *)

Если не говорить о наивной попытке опереться на народ и его мировоззрение, когда население увлек сатана, этот вопль ужаса, во всей его непосредственности, мог бы вырваться и у меня.

Раскол начался после вопроса Адамовича: „Мы найдем сотни, тысячи произведений, где ставится проблема: должен ли человек пожертвовать собой ради народа. Сегодня бомба поставила проблему, о которой страшно даже и сказать, а между тем это вполне возможная ситуация. Возникает вопрос: должен ли собой пожертвовать народ ради человечества?“ (*).

(* Там же, с. 220. *)

„Чтобы говорить о человечестве, – возразил Распутин, – прежде всего нужно говорить о своем народе. Это и есть польза человечеству. Это не ради дискуссии, а просто я верю в слово „народ““ (*).

(* Там же, с. 222. *)

По сути дела, Распутин отказался обсуждать ситуацию атомного века. Он закрыл глаза на вопрос, ответа на который „народ и его мировоззрение“ не знают, не успели нажать.

Адамович навестил друга, командира атомной подводной лодки, и спросил его: „Представь себе, что кто-то там нажал кнопку и вся половина человечества, наша половина, уничтожена. Теперь тебе придется решать, ответишь ли ты тем же, нажав кнопку. Как ты поступишь?“ А женщины сказали: „Конечно, они же наших всех убили“. В них, в этих женщинах, говорит опыт и мышление и эмоции прошлой войны... Сейчас проблема стоит по-другому: „Они тебя уничтожают, а ты должен уничтожить вообще все человечество“. Потому что твой ответный удар – он ведь убьет все человечество» (*).

(* Там же, с. 220–221. *)

Пока народ остается нашей высшей ценностью, мир на краю гибели. Человечество может спастись только в том (трудно вообразимом) случае, если народы согласятся остаться со страданиями неотомщенными и даже за гибель свою не захотят мести. Как тот безвестный

еврей, узник Дахау, молитва которого, записанная на клочке оберточной бумаги, была после войны напечатана в «Зюддойче цайтунг» и оттуда попала в проповедь митрополита Антония Блюма:

«Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе... Прими во внимание добро, а не зло. Пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них».

Когда я прочел этот текст на вечере в память жертв варшавского гетто весной 1988 г., многие были недовольны. Они хотели разговора о героических подвигах. Но человечество может спастись только отказом от подвигов, только готовностью на риск мира, только решительным выбором Христа, а не Варравы. Это не вопрос вероисповедания, потому что христианство как вероисповедание вряд ли больше следует Христу, чем буддизм или иудаизм (*). Это вопрос к разуму и сердцу каждого человека, в какой бы стране он ни жил, большой или маленькой, и какая граница для него самая горячая: по Эльбе, по Лимпопо или по Голанским высотам?

(* Мало кто выдержит критерий св. Силуана Афонского: тот, кто не любит своих врагов, не христианин; он вне Бога, он слуга для вола (ср.: Арим, Софроний, старец Силуан. Париж, 1952, 2). *)

История не только развитие производительных и разрушительных сил. Это еще прогресс нравственных задач. Если разрыв между задачей и ее исполнением слишком велик, цивилизация гибнет. Классовая борьба и борьба идеологий подвели нас к порогу гибели, и, поменяв класс на народ, мы не отодвинулись от пропасти. Народы помнят прошлые победы, когда за Марафоном следовал Эсхил, за Бородиным – Пушкин. Народы очень медленно сознают истины, высказанные 2–2,5 тысячи лет назад, и совсем не понимают, что сегодня надо подняться до вселенской солидарности – или мы погибли. Те, кто сегодня ставит народ (какой бы то ни было народ) на первое место среди своих святых, повторяют суд первосвященника: «Лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ». Повторяют, когда несравненное большинство вопит «распни его!» – и голос истины был голосом затравленного одиночки. Повторяют, когда патриархального народа с его патриархальными добродетелями давно нет и «население», «масса» формируется в новый народ только вокруг одиночек, через которых, устами которых глаголет вселенский дух.

Сознание бесконечной глубины личности и соборное сознание человечества идут рука об руку. Это почувствовал Окуджава, возражая Распутину: «Я хочу понять для самого себя, что такое в конце концов „народ“. Понятие это у нас... очень распространенное, и под знаком этого понятия не только создавалась великая литература, но и творились очень серьезные злодеяния... У нас... за многие годы исчез институт уважения к личности. Для меня... лозунг восстановления этого института является самым главным... Если мы научимся уважать личность, тогда мы научимся уважать и народ, и человечество» (*).

(* Форум, 1987, № 17, с. 222–223. *)

Я думаю, перед Россией эти проблемы стоят острее, чем перед любой другой страной. Малые страны, например, почти не несут на себе бремя глобальной атомной ответственности. У них нет в руках средств, способных погубить мир. Сплошь и рядом нет средств даже для самого необходимого, и думать о мировых проблемах некогда. У нас в таком положении многие союзные и автономные республики и области. С них нет спроса, а с России есть. И потому русский не вправе любить свою страну той слепой любовью, которая простибельна жителю Намибии, Кампучии или Карабаха. Я читал обиженные реплики зарубежных русских: почему нам нельзя любить свою родину так, как поляку или чеху? Почему нас сразу обвиняют в шовинизме? Потому что Россия империя. Потому что Россия – атомная сверхдержава.

Речь идет не о бесправии в любви, а о невозможности отвлечься от мировой ответственности – и еще об одном: об ответственности перед мировым в своей собственной культуре. Ибо культура, которую получил в наследство носитель русского языка, – одна из самых вселенских. И по своему прошлому, и по своим возможностям.

Существует привычка (идущая от полунаучного атеизма) сводить национальное к народному и языческому. Это создает совершенно ложную перспективу исторического процесса. Современный мир был бы невозможен без открытости чужому и новому, без «всемирной отзывчивости», внесенных в жизнь племен и народов мировыми религиями. Мировые религии дали многим народностям и племенам первый толчок, с которого начался процесс формирования открытых этнических организмов, перекликающихся друг с другом в воплощении общих ценностей всего культурного мира. Это и есть нации. Поэтому национальное уже само по себе, по своей сути содержит в себе общечеловеческое и мировые нации суть те, в которых сильнее слышится вселенский призыв.

Возрождение России означает возрождение открытости, «всемирной отзывчивости», и в том числе отзывчивости к требованиям малых народов, живущих на краю исчезновения, небытия культуры. Совесть русского интеллигента не может не поддерживать борьбу, которую вели Григоренко и Костерин, вел Сахаров, – против имперского гнета, за угнетенных, за обездоленных.

Русскому не приходится бороться за внешнюю независимость. Его гнетет свое собственное имперское государство. И освобождение народов от имперского гнета неотделимо от освобождения личности в России. Малым народам нужна внешняя национальная консолидация, России – вселенский дух и свобода личности. Я убежден, что Россия на это способна – хотя не могу поручиться, что она справится с этой задачей. За это – традиции духовного взлета прошлого века. Против – зигзаг в сторону староверческой замкнутости. Стремление выращивать в себе специфически русское кажется мне смешным. Я лучшего мнения о жизненности русского духа, чем наши почвенники. Если мы вернем себе «всемирную отзывчивость»; если освободится и расширится творческая личность; если мы будем прислушиваться к вечности, не затыкая уши от шума времени, думать о вечном и писать об этом по-русски, живым современным языком – сама собою расправится русская культура и одновременно вступит во владение своим прошлым и своими мировыми связями. Только такая культура сможет играть роль посредника между малыми народами Евразии и всем миром – и сохранить в Евразии присутствие русского языка.